



**Н. В.
УСПЕНСКИЙ**



Николай Васильевич Успенский

Брусилов

«Поздно вечером в доме провинциального чиновника Брусилова сидел на старом диване его сын, лет семнадцати, устремив свои глаза в пол и опустив широкие руки на колени. Рядом с ним лежал белый узел. У стола сидела его мать. В соседней комнате слышалось храпенье самого чиновника, недавно возвратившегося из трактира...»

**Николай Васильевич
Успенский
Брусилов**

Поздно вечером в доме провинциального чиновника Брусилова сидел на старом диване его сын, лет семнадцати, устремив свои глаза в пол и опустив широкие руки на колени. Рядом с ним лежал белый узел. У стола сидела его мать. В соседней комнате слышалось храпенье самого чиновника, недавно возвратившегося из трактира.

– А то подумай, Костя: не остаться ли тебе здесь? – говорила старушка, – авось приищешь себе местечко в приказных... А то Петербург... такая даль...

– Нет, матушка, я уж давно решил идти... Может быть, со временем помогу семейству. Да мне здесь все надоело: надоел отец, надоела гимназия... Что говорить! давно отправляться пора... Не горюйте... У нас свои стремления... мне легче, что я иду.

– Да я не препятствую: господь с тобою! – говорила мать, боясь противоречий, вредных путешествию, – только не знаю, как ты будешь жить в Петербурге?.. денег у тебя нет... Вот жила век целый, хоть бы грош какой припасла.

– На дорогу будет с меня... Да вы не плач-

те, а лучше разойдемтесь, матушка: помните, что чрез год я возвращусь к вам студентом...

Мать начала крестить сына; наконец, проговорила:

– Добредешь ли ты, мой родной?.. Дорога дальняя...

– Только до Москвы; а там машина, – сказал сын, перевязывая узел; но, услышав, что мать плачет, замолчал.

Мать поторопилась выговорить:

– Ну спи себе, мой ненаглядный!

– Что вам кажется странным сделать каких-нибудь полтора ста верст? – добавил сын вслед уходившей матери, – любая старуха пройдет больше...

Молодой человек сел за стол и начал что-то вписывать в памятную книжку, в которой находились разные исторические и статистические сведения, сцены, монологи и собственные заметки под заглавием: «Соображения». Эти соображения были весьма отрывочны и, по-видимому, писались на лету. Они были в таком виде:

«18** года** числа. Мы просили позволения у инспектора издавать рукописный жур-

нал; он не позволил. После мы услышали от его лакея, что он называл нас поросятами. Учителя, узнав о нашем намерении, все скорчили гримасы... Сколько было припасено!.. и критик даже был готов...

Отец председательствует в кабаке ровно неделю. Неужели этому не будет конца!..

Петербург! Петербург! Сколько ты вдыхаешь в мою душу жизни, святых надежд!.. Ты кажешься мне великим сокровищем... Без тебя здесь глушат молодость. В доказательство, как я тяготее к тебе, я иду к тебе пешком... Да я ли один? Мысль о тебе озаряет много сердец...

На человека без коренного образования не полагайтесь: он будет во всякое время толковать о просвещении, о прогрессе единственно для упражнения себя в красноречии. Наши учителя нынче будут читать о Шекспире, Байроне; завтра за картами дойдут до драки; а ученику сделают первую на свете низость.

Говорят, наш географ недавно сочинил следующие стихи:

*О! как приятно с девой в ночи
Сидеть в саду, когда сад пуст,*

*Лобзать ее, глядеться в очи —
И вдруг рвануться в дальний
куст.*

Провинциалы не потерпят вас, если вы явно образованный, просвещенный человек. Они вас будут слушать с испугом и недоверием и будут стараться избавиться от вас. Явитесь вы просто чиновником, любящим выпить, – вы будете понятны и любимы.

Я заметил, что труд сам по себе имеет целебное влияние на нравственную сторону: он именно складывает характер человека. Если бы мне дали в Петербурге какое-нибудь содержание! Пусть какое угодно берут обязательство... Чувствую, что мне предстоит там борьба... Я горд... Застигни меня голод, я решу умереть, но не унижусь до просьбы... Находят, что я несообщителен. Пока останусь при всем, чем богат, в таком виде явлюсь в Петербург, – там начну новую жизнь...

Кажется, человек может жить без пищи больше недели... Вчера учитель истории с улыбкой спрашивал меня, правда ли, что я собираюсь в Петербург? Странно! чего ж тут усмехаться?.. Не поймешь, что это такое дела-

ется!

Всем моим товарищам от души желаю университета... В Андрееве виден будущий литературный богатырь... Кто-то из товарищей спрашивал: „А что, если Андреев пойдет в подьячие? Что выйдет?“ – Вероятно, подьячий и выйдет.

Сегодня я увидел в тетрадке учителя истории следующее: „Ученикам для лучшего удержания в памяти:

Марк Катон Цензор имел рыжие волосы и серые глаза.

Агезилай – на одну ногу хромал.

Самые воинственные полководцы, отличавшиеся силою ума, как-то: Антигон, Серторий, Ганнибал, Филипп – были кривоглазые.

В Аравии водятся овцы с предлинными хвостами, так что пастух подвязывает им к хвосту тележку...“ и т. д.

Конец!.. Вооружившись быстротою Ахиллеса, через день отправляюсь в Петербург... на душе праздник... Прощайте, прощайте!..»

Вообще в памятной книжке Брусилова было научных замечаний более, чем собственных; как видно, он не слишком любил изли-

ваться на бумаге; а делал свои «соображения» вскользь, не придавая им особенного значения.

Рано утром чиновник Брусилов опохмелялся в трактире, а его сын шел по московской шоссейной дороге с палочкой и узлом. Он шел бодро, сильно работая ногами. Прохождение, смотря на его широкие плечи и поспешную ходьбу, полагали, наверное, что он будет в Москве через четыре дня.

В Петербурге Брусилов представился с письмом своей матери одному седому купцу. Купец, надев на глаза очки, прочитал письмо и сказал сурово:

– Вашу мать я коротко знаю: я сам из города N. Вы нешто в первый раз в Петербурге?

– В первый. Я прибыл сюда держать экзамен на медицину.

– Да, чай, родители вас не могут содержать? – хмуря брови, спросил купец.

– Я должен буду просить казенного содержания у медицинского начальства.

– Отчего же вы на медицину?

– Я бы лучше поступил в университет; но

там, говорят, нет казенного содержания.

– Так. Ну, отчего же вы на своей родине не поступали в приказные? Там ваши родители... Чего?

– Да не захотел...

Купец сдвинул на лоб очки, посмотрел на старый нанковый сюртук Брусилова и проговорил не без презрения:

– Мало что не захотел!.. Вот ваша мать пишет, чтобы я вас поместил у себя на месяц... Что такое?

– Выдержу экзамен, я вас не стану беспокоить, – вымолвил Брусилов, подавляя в себе внутреннюю боль.

Оставшись один в комнате, Брусилов развязал узел, надел суконный сюртук и стал раскладывать на столе книги: историю, математику, географию, все еще чувствуя какое-то внутреннее беспокойство. Затем вынул из кармана памятную книжку, записал: «...июля... путь кончен; я в Петербурге... в кошельке четыре рубля...» – и отправился в академию на Выборгскую сторону. Узнав, что Брусилов ушел, купец пробрался в его комнату, как хищная птица, и осмотрел все его ве-

щи.

– Жена! – говорил купец после, – что-то меня робость берет!

– А что? Аль опять живот болит?

– Нет, насчет приезжего думаю: не мазурик ли? Купчиха стала напротив купца и, сверкая глазами,

вскричала:

– Ну, как же ты, не сообразясь с своей башкой, впустил его сюда? Что ты в самом деле?

– Ну, что ты кричишь-то?.. Сумасбродная!..

– Что же, ты пойдешь в баню-то? – перебила купчиха.

– Ишь, заправду волю-то взяла!

– Иди, говорят, в баню-то! – уходя, добавила купчиха.

В академии, среди двора, в коридорах, на подъезде, Брусилов встретил много молодых людей, приехавших держать экзамены, в шляпах, разноцветных фуражках и галстуках, во фраках, со стеклышками, тросточками, – и все это двигалось, шумело и дышало такою провинциальною свежестью, что постоянный петербургский житель, глядя на светлые лица молодых людей, не мог не вспомнить и не

вздохнуть о своей исчезнувшей юности, когда грудь захватывали поэтические стремления... У стен, по углам бродили в нахлобученных фуражках бедняки, думавшие о квартирах и вспоможениях...

– Здорово, брат! – раздавался звучный голос краснощекого франта в белой фуражке.

– Здорово!

Руки взмахи вались во всю свою длину и громко хлопали.

Толки шли об экзаменах, факультетах, кутежах, петербургских удовольствиях, профессорах, квартирах... Стоял тихий июльский день; облака так мирно плыли над академией... Брусилов стоял у перил лестницы, вглядываясь в проходивший народ.

– А! Брусилов! какими судьбами? – воскликнул один студент. – Пойдем в мой номер.

Брусилов явился в номере среди своих земляков, утопавших в клубах табачного дыма.

– Ну, как вы здесь поживаете? – спрашивал он, глядя на картежную игру, происходившую между четверью студентами, сидевшими на столе.

– Да вот скоро кончим курс, примемся ле-

читать... – говорил один земляк, Антонов.

– А ты тоже на медицину, Брусилов?

– Послушаю ваши лекции; а то в университет перейду.

– Оставайся лучше здесь! Медицина наука положительная: лекарское местишко получишь; в доктора не хлопочи... много нам надо!..

Брусилов посмотрел на других земляков; никто из них не возражал Антонову, все они, казалось, были согласны с ним. Брусилов на минуту задумался, потом спросил не без иронии:

– А помнишь, Антонов, как ты мечтал в гимназии? Верно, теперь ты у пристани?

– Кровь моложе была... бродила. Теперь я отрезвился и нахожу, что Эпикур был великий человек...

– Мечтают одни провинциалы; тут нужна практичность; с юношескими стремлениями пропадешь в Петербурге, – добавил другой земляк, снимая карты.

Брусилов более ничего не говорил. Он простился с земляками и пришел к купцу уже при огнях.

Наступила осень. Нева день ото дня покрывалась яликами и барками с мебелью; по улицам тоже перевозилась мебель; все тянулось в Петербург. Полились дожди... Гул и трескотня на улицах усиливались; кипучая петербургская жизнь наступала. Брусилов давно оставил купца и жил на Выборгской стороне в темной каморке, в два рубля, без окон, без мебели, с гнилым полом, из-под которого по ночам выбегали стада крыс и мышей с визгом, наводившим ужас. Брусилов сдал свои экзамены и подал прошение о казенном содержании, а в ожидании решения слушал медицинские лекции, ходил в публичную библиотеку и поздно возвращался в свою сырую квартиру. «Денег нет, – писал он в книжке, – становлюсь героем...» К землякам он не ходил, боясь познакомить их с своей кельей, которая его самого пока не приводила в отчаяние. Его тревожила одна потребность деятельности и труда.

Однажды утром Брусилов лежал на своей постели, устроенной на полу из охапки соломы и хозяйского одеяла, которому не было

имени, и думал о том, как скоро можно умереть, если более недели расстроен желудок. За стеной у хозяина стучал маятник и иногда слышались вздохи. Хозяин был отставной капитан, с Брусиловым мало виделся. За другой стеной раздавались крики и брань каких-то рабочих и однообразное хрюканье свиньи, подкапывавшей стену и грозившей разрушением всего дома. В комнате Брусилова явился кто-то.

– Кто здесь? – спрашивал незнакомец.

– Что вам угодно? – ответил Брусилов, надевая сюртук.

Незнакомец повторил:

– Кто здесь?

Брусилов узнал голос земляка.

– Константин! ты ли это? – говорил земляк, выводя Брусилова в переднюю, где было по светлей.

Брусилов опять очутился в своей комнате.

– Да постой! я к тебе не один...

Вскоре вошло еще трое земляков. Все принялись изъявлять сожаление, расспрашивать: что за причина такого положения?

Свидание кончилось тем, что земляки при-

советовали Брусилову, в ожидании вспоможения, перебраться в госпиталь, где можно по крайней мере иметь сухую комнату. Брусилов подумал, подумал – и через три дня отправился в больницу.

Глушь и скука царствовали в больнице; везде почти был один разговор про доктора и больничный суп, который был обкладываем самыми едкими сарказмами; всякий сердился и по несколько часов лежал не раскрывая рта: всякий думал об одном, как бы скорее на вольный воздух. Выписывавшийся вон навел на всех уныние. Больница очень походила на тюрьму с преступниками, денно и нощно занятыми своим освобождением.

Иногда, впрочем, появлялся в каком-нибудь номере больной офицер с неумолкаемыми рассказами про любовные приключения с неожиданными развязками, – тогда в номере была жизнь. Больные, запахивая свои халаты, окружали рассказчика, и раздавался смех. К Брусилову изредка приходил кто-нибудь из земляков, приносил медицинские записки и говорил, что про вспоможение ни слуху ни духу... Брусилов начал засиживаться у окна,

глядя на пасмурные дома, торопившийся народ, проезжавших, толпу рабочих; он чувствовал, что голова его словно дымилась от налетавших одна за другой мыслей... «Что делать, что делать?» – твердил он. У Брусилова жила мысль, что, в случае совершенно безнадежной крайности, он найметя в работники, и ему вспоминалось, отчего так много людей не на своих местах, с убитым призванием...

Но вот Брусиллов получил, наконец, вспоможение – в пять рублей. Он был обрадован не столько пятью рублями, сколько тем, что мог выйти из лечебницы. Обутый в новые рыночные сапоги с длинными носами, он перешел в дом мещанки Пустынской, где вступил в сообщество трех вольнослушателей.

Новая квартира, стоившая шесть рублей, была с одним диваном, двумя стульями и одним хозяйским сундуком, припиравшим боковую дверь. Не прошло двух недель, как в одно утро мещанка Пустынская стояла в комнате своих жильцов и требовала денег. Но жильцам было не до этого. Они хлопотали вокруг одного своего товарища, Вавилонского, с которым делалась холера. Вавилонский при-

надлежал к тем известным личностям, которых с раннего детства сопровождает бедность: эти люди чрезвычайно скромны и выносливы; им кажется, что они хуже всех, и если их преследует нищета, оскорбления – они все скрывают в сердце.

Вавилонский, долгое время питаюсь хлебом и колбасой и, за неимением платья, сидя постоянно в сырой комнате за остеологией, наконец вдруг почувствовал озноб и судороги – что заставило товарищей скорее снаряжать его к кухмистеру, где, по их мнению, можно было поправить несчастье горячим супом. Больному добыли сюртук с какого-то высокого студента и необыкновенно длинные панталоны. Один из товарищей держал Вавилонского под руки, другой надевал панталоны, и, чтобы сделать их впору, подвязывали их подпоясками, продевая концы между ног и завязывая узлы на спине умиравшего. Товарищи не ошиблись в своем предположении; действительно, после обеда больному сделалось легче, так что наутро, если бы у него было платье, он мог идти в аудитории. Но на другой же день после этого события хо-

зьяка, вооружившись помелом, стояла среди комнаты и требовала, чтобы жильцы выходили вон из квартиры. Студенты находили такое требование основательным, прося Пустынскую об одном, чтобы она позволила им дождаться вечера, потому что они все были в халатах и калошах. Хозяйка принуждена была согласиться на это, и студенты, при наступлении вечера, разбрелись, куда кто мог, оставив комнату, наполненную табачным дымом. Что случилось с Вавилонским – неизвестно.

Брусилов перебрался к одной Выборгской кухмистерше, в маленькую комнату, смежную с кухней. Хозяйка давала ему обед, и он, донашивая рыночные сапоги, посещал усердно публичную библиотеку и академию; но вскоре все это миновало; он более никуда не выходил; в комнате ежедневно носился чад и угар; в обеденное время за стеной гремели тарелки и вилки, возбуждая в Брусилове желание есть, но кухмистерша плотно припирала его дверь. Между тем от чаду у него трещала голова, ему хотелось выйти на воздух... и он бросал печальные взоры на лежавшие в углу

разорванные сапоги. Однажды из кухмистерской отворилась дверь, и, ковыряя в зубах, вошел один студент с прищуренными глазами. Он, не торопясь, сказал, что он наслышан о бедности Брусилова и готов платить за него хозяйке деньги, с условием: иногда принимать в его комнате некоторых знакомых девиц. Брусилов отказался от этого предложения и долго сидел у окна, думая, что ему делать. Разбирая свое путешествие в Петербург, он нашел, что он был слишком неопытен, – что не сообразил самого простого вопроса: «Какое имел он право пожаловать в Петербург, не имея денег? Разве ему неизвестна общая судьба бедняков?..» Вечером кухмистерша объявила Брусилову, что, если он не добудет к утру денег, она его выгонит.

Наступила весна. Брусилов лежал больной в одном постоялом дворе, набитом извозчиками, на Петербургской стороне. Его кровать стояла у самого окна; подле него сидел дворник.

– Как же это быть-то, – говорил он Брусилову, – нездоровы-то вы... Управляющий велел

просить денег... он говорит, что тут одному купцу требуется учитель; вот бы вам туда лапу-то запустить... да ишь нездоровы!

В углу раздавалась песня: «Э-эх, всгоря песню запоем».

– Перестань, Ефим, – говорил один ямщик, – вишь, больной лежит.

– Ничего, пойте: меня сегодня не треплет лихорадка, – сказал Брусилов.

Брусилову было отказано в вспоможении за непосещение лекций. Еще живя у кухмистерши, он добывал себе деньги перепиской бумаг и этим жил до тех пор, пока, перебравшись на постоялый двор, не получил лихорадки. Дворник, от имени управляющего, все чаще напоминал Брусилову об уплате за угол, который он занимал.

Наконец, Брусилов, выбрав темный вечер, в одном сюртуке отправился к знакомому седому купцу – просить взаймы денег. Он явился туда весь в поту и встретившую его купчиху своими оловянными, впалыми глазами так напугал, что она сначала только подержалась к стороне, потом бросилась по комнатам и исчезла; купца не было дома.

Брусилов сошел с лестницы и направился опять к Петербургской стороне. Он шел через мост, дул сильный ветер; волны с шумом хлестали в темной бездне...

– Подайте нездоровенькой... – слышался голос и пропадал, относимый ветром.

Бежали дрожки; вдали светились фонари, и жалобно играла шарманка...

В тот же вечер с Брусиловым сделалась горячка. Он лежал без памяти у своего окна; извозчики сидели за столом, считая деньги. За стеной пьяный сапожник бил свое семейство. Наверху, во втором этаже, шла пляска; дружно взвизгивали скрипки, и время от времени подпевали голоса: «Эй, Татьяна, отвори ворота...»

1860